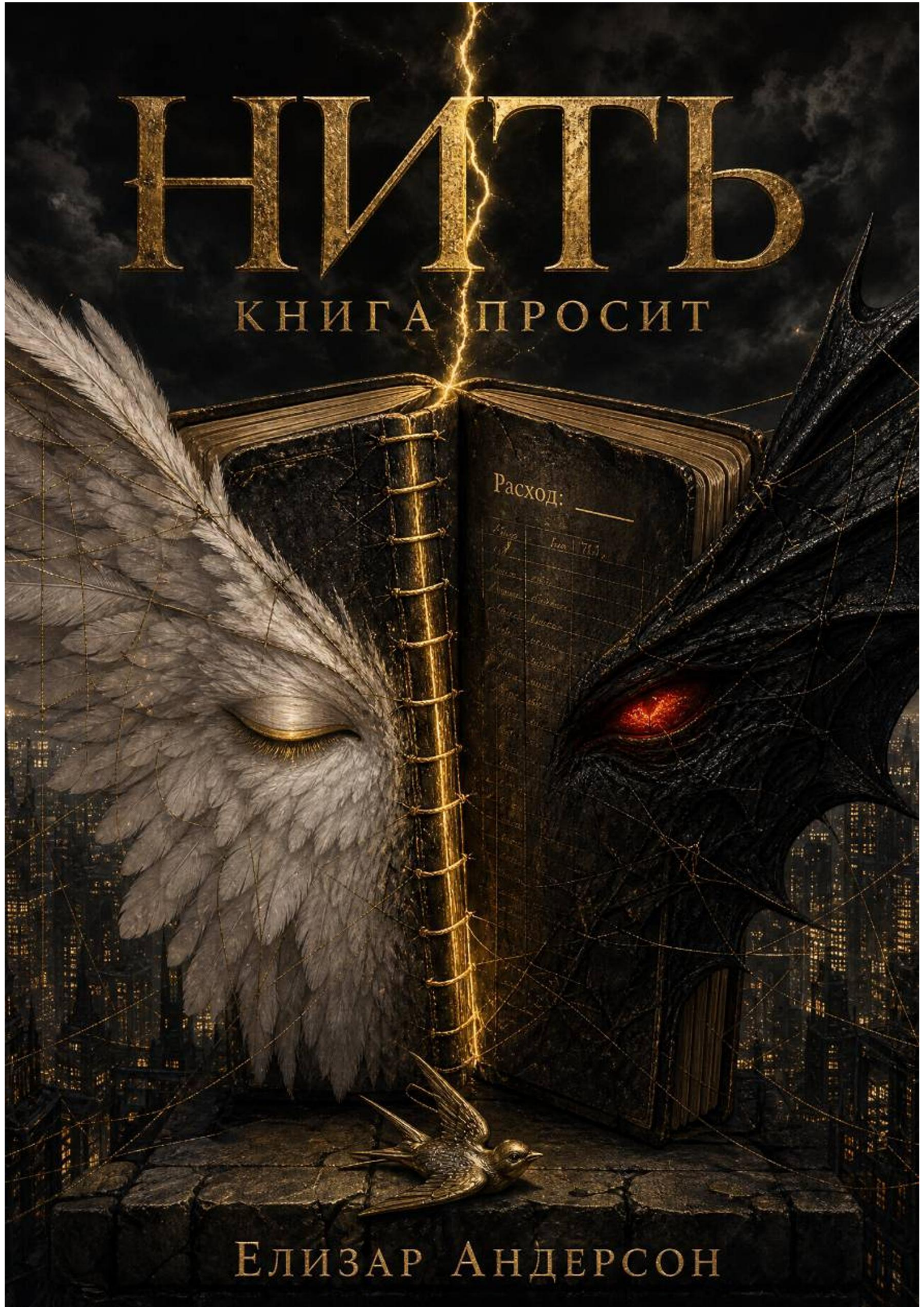


НИТЪ

КНИГА ПРОСИТ



ЕЛИЗАР АНДЕРСОН

Елизар Андерсон

Нить: Книга просит

«Автор»

2026

Андерсон Е.

Нить: Книга просит / Е. Андерсон — «Автор», 2026

Прошло полгода с той ночи, когда треть города подняла руки поименно, и счёт сошёлся. Но счёт, который сошёлся, — не конец. Книга тяжелеет сама, способы идут к Джеку Брауну рекой — и рекой же уходят в город. Добродетель, как выясняется, — не отмена долга, а отсрочка. В нижнем ярусе вырастает чёрный рынок способов: охотники, крысы, перепродажа чужих строк. А за ним стоит человек, которого в городе нет — тот самый третий держатель, бросивший книгу в ночь Раскола. Он умеет не числиться. Он вычёркивает себя из чужих записей. И он готовит пустое кресло держателя. Джек, который тысячу раз сказал книге «нет», скоро услышит её первый запрос. Фантастика о том, что бывает, когда счёт начинает считать тебя.

© Андерсон Е., 2026

© Автор, 2026

Елизар Андерсон

Нить: Книга просит

ЕЛИЗАР АНДЕРСОН

НИТЬ: КНИГА ПРОСИТ

Фантастика

2026

АННОТАЦИЯ

Прошло полгода с той ночи, когда треть города подняла руки поименно, и счет сошелся. Джек Браун ведет книгу — и книга с каждым днем тяжелеет: способы идут к нему рекой, рекой же он раздает их по руке и имени. Добродетель, как выясняется, — не отмена долга, а отсрочка: счетчик копит вес, а дыры помнят. В нижнем ярусе вырастает черный рынок способов — охотники, крысы, перепродажа чужих строк. И за ним стоит человек, которого в городе нет: тот самый третий держатель, бросивший книгу в ночь Раскола. Он умеет не числиться — вычеркивать себя из чужих записей. Он готовит пустое кресло держателя, и Джек, который тысячу раз сказал книге «нет», скоро услышит ее первый запрос. Фантастика о том, что бывает, когда счет начинает считать тебя.

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог

Глава 1. Чужая вода

Глава 2. Первый чистовик

Глава 3. Нижний ярус

Глава 4. Счет

Глава 5. То, чего не видит соня

Глава 6. Канал

Глава 7. Мешки и пометки

Глава 8. Кто считает

Глава 9. Того, кого нет

Глава 10. Восьмая строка

Глава 11. Сколько осталось

Глава 12. Первым

Глава 13. Держать свет

Глава 14. Двадцать три дня

Глава 15. Одно имя

Глава 16. Нина

Глава 17. Тираж

Глава 18. Слух

Глава 19. У стены

Глава 20. Пятнадцать дней

Глава 21. За час

Глава 22. Сверка краев

Глава 23. Продажа кассы

Глава 24. Три дня

Глава 25. Взнос

Глава 26. Сверка

Глава 27. Две версии

Глава 28. Просьба

Эпилог. Остаток

ПРОЛОГ

Все начинается со счета. Я не метафору — так заведено: графоманы считают город, город считает дыры, дыры, наверное, считают нас, просто у них терпения больше. Я считал раньше дубли, потом смерти, потом плохие дни — до сходимки и после — и вот теперь считаю дни, в которых ничего не случилось. Их стало так много, что я завел для них отдельную графу.

Сто сорок один день сошелся. Счет сошелся — и все стало тихо, а тишина после большого счета похожа на зал после финального дубля: свет гаснут, аплодисменты кончились, и только дворник шуршит метлой по проходам между рядами. Город дожил до конца своей истории и не знал, что делать дальше, — так что делал то, что умеет все города: жил. Работал, ел, спорил о парковках, старел по чуть-чуть, не спрашивая у меня разрешения.

Я тоже жил. Занимался тем, чем занимаются люди, у которых кончилась работа: искал, на что теперь падает их профессия.

На столе, между кружкой и картой, лежали два способа.

Сказать «лежали» — значит соврать про уклад. Они не лежали — они ждали. Способ лощмана сидел у меня за шеей ровной прохладой чужой воды, и когда я проходил мимо окна в дождь, шея поворачивалась сама, как у собаки на запах. Способ зрителя Игната грел ладони изнутри — ровно, тускло, как лампа за толстым стеклом фонарной, — и грел четыре месяца подряд, не убавляя ни градуса, потому что способы не устают. Устаем мы. Способы терпеливее дыр.

Я их не брал. Брал — не то слово: способ нельзя взять, как нельзя взять чужую руку и пришить к себе. Способ можно только принять — по руке и по имени, как учила книга, которой я больше не верил на слово. Я их не принимал. Один лежал, как лежит долг перед умершим: горячий, тяжелый, никуда не девавшийся. Второй — как невыплаченный взнос. Инструменты ждали хозяина, а я четыре месяца доказывал инструментам, что хозяин у них из тех, кто сначала читает инструкцию.

Инструкции не было. Система молчала — она вообще редко говорила со мной после той ночи, будто мы с ней расстались друзьями, а теперь ходили вокруг да около на встречах бывших: помнишь, говорит, сходимку? Помню, говорю. Хорошо было. Да, говорит. И все.

Книга говорила чаще, но тоже не со мной — она говорила сама с собой, тяжелея. Когда я брал ее с полки, она была тяжелее, чем неделей раньше. Не страницы тяжелели — страницы были пусты, чисты, как след от стертой строки. Тяжелела она сама, изнутри, как дом тяжелеет от прибавки, которую не видно с улицы: где-то внутри кто-то складывает кирпич за кирпичом и не выходит на свет. На последней странице стояло слово «Расход:» — и после двоеточия шла пустота на всю страницу. Четыре месяца я заглядывал в эту пустоту по вечерам, как заглядывают в шахту лифта: пока кабина не пришла, ты можешь думать, что шахта — просто темная.

Приход она писала сама. Каждый записанный способ — строчка. Каждая возвращенная строка — еще строчка. Я переписывал приход на людей: кто-то научился не бояться чужой воды и вытащил из канала утопающего, кто-то держал свет над чужой ночной работой, кто-то крутил пленку до конца в забытом кинотеатре, где никто не умирал уже третий месяц. Контора Риты вела синюю тетрадь, Черновик вел чистовик, графоман вел город — и все это были счета одного и того же: кто, сколько, за что. Город расплачивался по ноль с каждого, и ноль, как выяснилось, — цифра трудная: за ней прячется либо все, либо ничего, и пока город платил ноль, книга копила все.

Я об этом думал по вечерам. Потом выключал свет.

Соня приходила по субботам. Она выросла за четыре месяца на полголовы, что для счетоводки — катастрофа: считать стало выше. Садилась напротив, складывала руки на коленях и смотрела на меня так, как смотрят на строку, которая не бьется с итогом.

— У тебя приход тускнеет, — сказала она в первую субботу октября.

— Я похудел?

— Приход. В твоей книге. Она тускнет.

Я открыл книгу. Страницы были, как всегда, чисты, а Соня смотрела на них с выражением человека, который читает мелкий шрифт через толстое стекло.

— А что вместо него? — спросил я, потому что с Соней лучше не спорить: она отвечает ровно на вопрос, а не на то, что ты хотел услышать.

— Ничего, — сказала она. — Вот что страшно. У всего есть расход, ангел. У чая — допита чашка. У дня — ночь. А тут тускнет — и ничего не приходит на смену. Как будто город получает то, что должен был получить ты.

Я захлопнул книгу. Это было глупо — страницы не закрываются от страха, — но рука сделала это сама, привычкой человека, который видел, как книги открываются сами.

— Посчитай для меня, — сказал я. — Ты умеешь считать то, что я не вижу.

— Я и считаю, — сказала Соня тихо. — Вот и считаю. И не вижу сама.

Графоман ябедничал быстрее всех. Я зашел к нему на мост в середине месяца — проверить, идет ли счет, как шел, — а он уже сидел с открытым блокнотом и выражением человека, у которого цифры начали говорить первыми.

— Семь, сэр, — сказал он без приветствия. — За эту неделю — семь способов пришло. На прошлой — два. На той, что была до, — три. Я веду этот счет двадцать лет, и у него никогда не бывало семерки, сэр. У него бывала тройка в голодный год.

— Семь — и все в контору?

— Все записаны, сэр, — сказал графоман и поморщился, как от зубной боли. — Все записаны. Вот я и сижу, думаю: куда спешит ваш город? Способам времени нет. Они ждали тридцать лет, некоторые. А теперь приходят по семь за неделю, как пассажиры на последний трамвай. Скажите, сэр: трамвай кто-то объявил?

Я не ответил. Трамвая не объявлял никто — но я четыре месяца чувствовал движение воздуха, как чувствуют натяжение троса за секунду до команды «мотор». Город копил. Что-то в городе знало, сколько осталось, и гнало способы по трубам, как гонят воду перед заморозкой.

— На новолунии будет десять, — сказал графоман, глядя в воду. — Я не предсказываю, сэр. Я вычитаю. И вычитание, простите, упрямая наука: если неделя дает семь, а месяц — новолуние, то новолуние получает десять. Приходите после. Посмотрим, какой я был прав.

Мост я покинул через дверь, какую уходят от пророчеств, — боком, не поворачивая спиной к воде.

Вечером того же дня я зашел к Рите — проверить, как дышит контора. Она сидела над синей тетрадью и вписывала то, что вписывала каждую неделю: не события — очередность. Кто за кем сидит. Кто кому должен чай. Кто пришел на сверку и больше не пропускает. — Я веду не книгу, — сказала она, не поднимая головы. — Я веду очередь. Книги пишут про тех, кто был. Очередь — про тех, кто остался. — Она перевернула страницу, и я увидел первую запись тетради, старую, за лето: «Возвращенный. Мужчина, ночь биржи. Имя вернуло свидетельство.» — Вот с чего начинается, — сказала Рита. — С одной строки, которая больше не бродяча. Все остальное — пристройка.

Касса-дежурная маячила у дыр все реже. Я видел ее в конце лета — стояла у восточной границы, где дыра дышала раз в минуту, ровно, как старое животное, и касса смотрела на нее со скукой пограничника, который знает паспорта наизусть. Я подошел, она обернулась и улыбнулась — устало, по-человечески, а это меня всегда било сильнее любой кассовой сухости: она еще улыбается, хотя ей положено только отмечать.

— А я — без, — сказала она вместо приветствия. — Ты зачем пришел, дублер? Опять ничего не случилось. Смотри, как ничего не случается.

— Ничего не случается все быстрее, — сказал я. — Семь способов за неделю.

— Знаю, — сказала касса. — Я по дырам хожу, а не по газетам. — Она помолчала и добавила то, от чего у меня по спине пошел холод старше любой зимы: — Я, может, скоро перестану ходить, дублер. Не умирать — перестану ходить. Кабинку закроют, табличку повесят «самообслуживание». А счет без сверки — это как дубль без камеры: падать можно, записи не будет.

— Кто будет сверять?

— А вот это, — сказала касса и впервые за год разговора со мной посмотрела не на дыру, а на меня, — ты и спроси у своей книги. У меня такого ответа нет. Я — без.

Больше я ее до новолуния не видел. Или видел — вот в чем штука: кассы, которые перестают ходить, сначала перестают замечаться.

Мо была дома. Это звучит просто, а это было единственное твердое здание во всем городе: Мо была дома, пекла, ругалась на цены, завязывала мне платок на шею, когда я с крыш приходил продрогший, и ни разу — ни разу за четыре месяца — не спросила про книгу. Она знала, что я принесу ее сам, когда принесу, а если не принесу — значит, приносить было нельзя.

В октябре я принес.

Мо вытерла руки, села напротив, поставила между нами чай — крепкий, горький, как всегда после плохих новостей, — и слушала. Я говорил двадцать минут: про Соню и тускнеющий приход, про графомана и его десятерку, про кассу, которая готовит себе табличку. Мо слушала, не перебивая, и кивала редко, коротко, как ставят галочки в реестре.

— Вот, — закончил я и открыл книгу на последней странице. — «Расход:». И пусто. Четыре месяца пусто.

Мо посмотрела на страницу дольше, чем я рассчитывал. Потом подняла глаза, и в них было то, чего я не видел у Мо никогда: она считала. Не пироги, не долги, не гостей — она считала меня, книгу и расстояние между нами, и итог ей не нравился.

— Знаешь, что я тебе скажу, дублер? — сказала она наконец. — Я вела забегаловку двадцать лет, и из них пятнадцать — при книге. Книга — как гость с чемоданом. Чемодан тяжелеет — гость собирается. А собирается гость — хозяин начинает зеркала занавешивать. Ты у меня зеркала занавесил?

Я не ответил. Маска висела на гвозде у двери, и я ловил себя на том, что не смотрю в ее сторону — а это, между прочим, тоже способ смотреть.

— Считай вслух, — сказала Мо и пододвинула мне чашку. — Что бы ни случилось дальше — считай вслух. Я подхвачу.

— А если не услышишь?

— Услышу, — сказала Мо просто. — Я двадцать лет жару слышу. Ты думаешь, я тебя не услышу?

В ту ночь я долго не спал. Лежал, слушал, как верхние дороги гудят над кварталом, как гудит лампочка Гаффера где-то внизу, у Черновика, который по пятницам сидел у лотка и слушал ее гудение, как слушают покойника, который еще что-то помнит. Думал о лоцмане, который умер на рассвете ровно и без шума, между словом и словом. Думал о зрителе Игнате, чей свет я до сих пор нес в ладонях и не зажигал. Думал, что способ — это не подарок и не мешок: способ — это работа, которую кто-то отработал до конца и передал дальше, а передать — значит признать, что конец у работы есть.

Графоман сказал бы: думать в постель — вредная привычка, способы приходят к тем, кто ходит. Графоман был прав по-своему: я встал, взял с полки книгу — она была тяжела, как сейфовая дверь, которую кто-то подпер с той стороны, — и сел с ней за стол.

— Ладно, — сказал я вслух, потому что Мо велела считать вслух, а Мо в моей жизни давно не советовала — назначала. — Посчитаем.

Открыл на последней странице. «Расход:» — и пустота на всю страницу. Я смотрел в нее, как в шахту лифта, только теперь из шахты пахло подземкой: движением, теплом, чужим дыханием. Четыре месяца я готовился к этой пустоте десятком способов, и ни один не подошел: она не просилась заполняться, она ждала, когда придумают, чем. И тут я понял вещь, которую не хотел понимать с эпилога: пустое поле — это не пропуск. Пустое поле — это графа, которую заполняют последней.

Книга под рукой стала теплой. Не от меня.

— Нет, — сказал я.

Тихо, как говорят комнате, чтобы никто не услышал, — а слышали все, кому положено: Мо за стеной спала и улыбалась во сне; Соня где-то считала и вздрогнула, не зная чего; графман в блокноте поставил точку, которую не ставил двадцать лет; касса-дежурная у дальней дыры открыла глаза и сказала темноте: «А я — без».

Книга остыла. Медленно, нехотя, как остывают споры, которые решили отложить. Страница осталась пустой — но пустой уже по-другому: теперь мы оба знали, что я ее видел.

Я лег спать. Город считал дыры, дыры считали город, графман считал способы, Соня — то, чего не видела, касса — оставшиеся дни. А я считал дни, в которых ничего не случится, и понимал, что графа эта у меня кончается.

Счет начался.

ГЛАВА 1. ЧУЖАЯ ВОДА

Счет начался — и первое, что я понял про счет: он никогда не начинается там, где ты объявил. Объявленный счет — это шоу. Настоящий счет идет уже давно, просто ты замечаешь его с опозданием, как замечаешь, что трос начал распушаться: снаружи он цел, а внутри — уже вся история.

Я объявил «нет» — и на следующее утро мир, разумеется, ничего мне не ответил. Миры так устроены: они не спорят, они продолжают. За окном Сент-Уинд делал свое утро: гудели развязки, жаловался первый трамвай, где-то на нижнем ярусе Мо открывала ставни и гнала из забегаловки ночной холод. Обычное утро. Сто сорок второй день, в котором ничего не случилось, — а счет за него уже шел.

Я стоял у окна с кружкой и злился на шею. Шея поворачивалась к стеклу сама — к дождю, к тучам, к любой мокрой поверхности, — и это было оскорблением хуже любого Системного окна. Окна хотя бы вежливы. А способ лоцмана вел себя как рабочая собака на цепи: не лает, не дергает — просто смотрит в сторону воды и ждет, когда хозяин одумается.

— Ладно, — сказал я шее. — Посмотрим.

Ванная. Кран. Это было глупо и правильно одновременно: способ не принимают в ванной, но и не врут способам глаза. Я открыл воду, посмотрел на струю — и шея выдохнула. Не я. Шея. Плечи опустились сами, как опускаются у человека, который вернулся домой и услышал, что дом жив: где-то там, за стеной, хлопнула дверь, зашуршала плита, кто-то по дому ходит, и все вещи на своих местах. Чужая вода. Николай сорок лет водил корабли в гавань и людей из воды — обратным порядком, если можно так выразиться, — и у него в способе осталась эта ровность: вода не страшна. Вода просто есть.

Я закрыл кран и долго смотрел на свое отражение в мутном стекле.

Способ изнутри — это не сила. Я ждал силы, ждал хоть какого-нибудь кинематографа, а внутри оказалась тишина с привкусом соли. Как будто кто-то всю жизнь держал в кулаке крик «бойся» — и разжал. Бояться чужой воды я не перестал: страх остался, аккуратный, на месте, как остается привычка держаться за поручень. Просто появилось второе знание, ровное и старше страха: можно идти. Не «иди, не бойся». Можно идти — и боясь. Сорок лет лоцман уходил в воду не храбрее других — просто вода его знала по имени.

Вот это, значит, инструмент. Лежал на столе четыре месяца, а он — дверь. Причем дверь я, как выяснилось, всю жизнь стоял перед ней, дергая ручку в другую сторону.

Взять способ — я уже знал — нельзя. Принять можно. И принимали их, насколько я видел за эти месяцы, по-разному: кто плакал, кто молился, кто просто кивал, как кивают на почте, получая посылку, которую ждал тридцать лет. Гаффер сказал бы: рассказ не продается — рассказ берется за правду. Моя правда была проще и горше: я не знал, как принять чужую сорокалетнюю работу, не ограбив покойного.

Покойный, впрочем, ограбления не заметит, а вот я замечу, сказал я себе и пошел к Мо. Не к книге. К Мо. Потому что Мо двадцать лет кормила город на краю закона и знала про такие вещи больше любой книги: как взять чужое, чтобы чужой не обиделся.

Мо выслушала, вытирая стойку — медленно, дважды, в одну сторону, что у нее означало «дело серьезное, но не крикливое».

— Долг, — сказала она, когда я кончил. — Вот что у тебя в руках, дублер. Не способ — долг. Лоцман отдал его тебе, а ты его три месяца держал на полке, как посылку без адреса. Ты когда-нибудь видел, как люди получают наследство? Вот точно так же корчатся: брать стыдно, не брать нельзя, продать — позор, сжечь — тюрьма. А потом берут. И живут дальше, только с лица снят камень.

— А если я не потяну?

— Не потянешь, — согласилась Мо неожиданно легко. — Одним способом никто не тянет, дублер. Способ — это как рецепт моего борща: сам по себе он не накормит. Но ты же не ради себя берешь. Ты вчера вечером мне рассказал: кто-то вытащил утопающего из канала. Кто?

— Не знаю. Тот, кому Николай достался после меня, наверное.

— Наверное, — Мо поставила передо мной вторую чашку, крепче первой. — А если бы не достался? Если бы лежал еще месяц на твоей полке? Утопающий кто — черновик?

Я выпил чай. Горький, крепкий — назначенный, не предложенный.

— Долг платят не деньгами, — сказала Мо, глядя на меня поверх очков, которых не носила. — Долг платят работой. Иди, дублер. Плати.

Я пошел платить в тот же вечер — не зная еще, как платят такие долги, и потому платил как умел: пришел к старому руслу, сел на причальную тумбу и смотрел на воду, пока шея не повернулась сама и не стала ровной. Рядом чинил снасти старый паромщик — лицо смоленое, руки розовые от холода. — Вода сегодня честная, — сказал он, не глядя. — Камни видно. — Поможешь спустить лодку? — Я помог. Лодка была тяжелее, чем казалась, — и легче, чем боялся: способ стоял за шеей и смотрел, как смотрит наставник, когда ученик берет инструмент первый раз. Когда лодка пошла по воде, паромщик кивнул: — Рука у тебя лоцманская. Я такие руки знаю — они воду не дают, а спрашивают. — Он не знал, что сказал страшное. В этом городе уже не было лоцманов. А вода, выходит, помнила.

Платить работой я умел. Это было единственное, чему меня учили по-настоящему: площадька, мешки, страховка. Слабая страховка лучше сильной отговорки — Кэб. Я пошел домой, достал книгу, открыл на последней странице и положил руку на пустую графу «Расход:».

— Не в расход, — сказал я книге. — В приход. И не мне — ему.

Книга промолчала. Книги умеют молчать лучше людей. Но под ладонью страница стала теплой — ровно настолько, чтобы я знал: записано.

Стояла середина октября, и вода в Сент-Уинде была холодная, черная, торфяная — вода не для спасения, а для философии. Я стоял на набережной в районе старого русла, где канал делал петлю, которую суда обходили сорок лет, и смотрел на воду с расстоянием человека, который пришел платить долг и при этом не хочет мокнуть. Шея повернулась к воде и ждала. Способ не торопит — способы терпеливее дыр.

Первым меня нашел не утопающий — утопающие, как известно, не выбирают график. Первым меня нашел мальчишка лет двенадцати, курьер с нижнего яруса, который когда-то боялся меня, а теперь просто знал, где искать.

— Ангел, — сказал он, подбегая. — Там у третьей арки крысы сидят. Трое. Чего-то ждут.

— Меня?

— Вряд ли, — сказал мальчишка и убежал, потому что курьеры бегут от всего, что стоит на месте.

Крысы — это в Сент-Уинде не грызуны. Крысы — это те, кто торгует тем, чем торговать нельзя: армейскими батареями из-под носа патруля, жетонами умерших Игроков, адресами, которых нет в списках. Стоявшие у третьей арки трое были крысами нового образца — я понял это через десять шагов, не раньше и не позже. Обычная крыса смотрит по сторонам. Эти смотрели в одну точку на воде — терпеливо, как ловчие, и в их терпении было что-то от моей собственной шеи, только купленное, не выращенное.

Я не стал подходить. Я умею падать с сорока метров, но иду на разведку только в кино и по пятницам. Встал у фонаря, надел маску — привычкой, как надевают перчатки перед грязной работой, — и посмотрел на крыс сквозь нее.

Маска показала мне намерение раньше, чем я успел спросить.

Это было новое, и я не сразу понял, что вижу. Маска всегда работала на зрителя: мирному — крыло, враждебному — шип. А тут, посреди мостовой, между мной и крысами, она выставила витрину — дьявольскую половину, как тогда, у темной витрины, год назад, — только теперь витрина смотрела не на город. Она смотрела на воду. И намерение, которое маска вывела на стекло, было простым и злым, как счет без сдачи: крысы ждали, когда кто-то пойдет по воде. Не переплывет — пойдет. По ней.

Я снял маску. Медленно, потому что рука хотела сорвать ее быстро, а я давно не доверял рукам, которые хотят быстро.

У третьей арки стояли трое и ждали человека, который ходит по воде. Дата, думаю, у них тоже была. Все ждут чего-то к новолунию.

Я ушел до того, как они обернулись, — по верхним дорогам, зигзагом, меняя маршрут три раза, как учил меня Гаффер в другой жизни. Живи как должник. Должники меняют дороги чаще, чем носки. На двадцать втором этаже я сел на подоконник рядом с гвоздиком-якорем и понял вещь, от которой стало не холодно, а очень тихо.

Крысы знали про способ раньше меня. Они стояли у воды и ждали лоцманова наследника — не знали, что это я, но знали, что он будет. Кто-то в Сент-Уинде продавал способы еще до того, как я решил их принять. Кто-то считал быстрее графомана.

А графа «дни, в которых ничего не случится» у меня закончилась окончательно. Сто сорок два дня. Рекорд. Красивое число для счета, который не мой.

Я доел бутерброд у окна и досмотрел на город, пока лампа на двадцать втором не стала просто огоньком, как все. Красивое число для счета, который не мой — сто сорок два дня. Рекорд. А рекорды, как все знают, существуют для того, чтобы их переписали. Завтра начну новую графу. Назову ее, как учила Рита: «В которых случилось.» — И лег спать при свете — уже не от страха: от привычки. Привычки — это свет, который остался, когда страх ушел.

ГЛАВА 2. ПЕРВЫЙ ЧИСТОВИК

(черновик писаря конторы, без вычетов)

Писать за другого я привык. Тридцать лет писал за того, кого город звал Коллекционером, — писал красиво, ровно, стирал имена так, чтобы бумага не рвалась. Меня списали: приход — писарь, расход — черновик. Имя — стерли. Я тридцать лет был черновиком, и теперь, когда меня впервые позвали писать в чистовик, я сижу над листом второй час и боюсь первой строчки.

Гаффер бы рассмеялся. Гаффер умер, и лампочка его гудит над лотком без электричества, как гудел он сам — низко, с помехами, не отвечая на вопросы. Я сижу у этого лотка по пятницам. Не потому что мне назначено. Потому что лампочка гудит ровнее, когда рядом кто-то с непустыми руками, а руки у меня пустые уже тридцать лет — с той поры, как мое имя стерли, а вместе с именем стерли и то, что руки мои умели.

Контора решила: раз я писал коллекцию, буду писать контору. Рита сказала это как распоряжение, Соня — как диагноз. Они правы по-своему. Синяя тетрадь, зеленая тетрадь, бордовая тетрадь — тетради конторы ведутся чужими руками. Теперь и я — чужая рука. Рука, которая когда-то стирала, будет теперь вписывать. Пусть. Счет, в котором одна рука — это не счет, а приказ. Счет начинается там, где рук становится две.

Чистовик конторы (первая запись, исправлений много)

Сегодняшний день: третья суббота октября. Веду по голосу держателя и по словам свидетелей. Правила те же, что учил город: не писать тех, кого не видел; не ускорять; не торговать.

Запись первая. Держатель принял способ. Источник: лоцман Николай, строка две-ноль-семь-десять закрыта? — [зачеркнуто: закрыта] — строка №2, источник лоцман Николай, способ «не бояться чужой воды». Принятие по руке и по имени, свидетельница — М. [здесь я должен быть точен: Мо — или мадам? черновиком было бы легче. Написал М. Пусть чистовик страдает.]

Плата: не лестница. Отдельная графа: «долг перед умершим». Графа новая, в тетрадях Риты такой не было. Держатель внес способ в приход книги словами «не мне — ему». Рита, когда я ей пересказал, долго молчала, потом сказала: «Запиши. Это либо красиво, либо опасно, либо и то и другое. Бухгалтерия так не умеет».

Умеет, записала я. Бухгалтерия умеет все, что умеет город. Просто не всякая графа помещается в тетрадь.

Запись вторая. У третьей арки старого русла трое. Крысы. Ждут человека, идущего по воде. Информация от держателя, увидено сквозь маску. [здесь рука дрогнула. Сорок лет маска никому не говорила намерение первой. Кто узнал? — и сразу зачеркнул: не мое. Писать что видел, не что понял.]

Запись третья. Счет способов за неделю: семь. Графоман подтвердил. Я сам пересчитал по словам — вышло восемь.

Восемь. [эту строчку я переписывал четыре раза.]

Семь по графоману, восемь по моему пересчету. Разница — один способ. Один способ, который пришел и не был никем записан. Я пересчитал еще раз, вечером, при лампочке: по словам держателя, по словам Сони, по тетрадям Риты. Семь, семь, семь. Восемь — только у меня, и я не помню, откуда взял восьмую строчку.

Черновики знают такие вещи. Черновик — это тетрадь, в которую записывают то, что еще не случилось и, может быть, не случится. Тридцать лет я писал чужие смерти до того, как они состоялись, — вот почему мое имя стерли, а не вычеркнули: вычеркнуть можно то, что было. А черновик — он всегда чуть-чуть впереди чистовика, как тень бежит впереди человека на вечерней дороге.

Я не скажу конторе про восьмую. Пока не скажу. Не из трусости — из грамотности: строку, которую не можешь подписать, не сдают в архив. Она лежит у меня на дне, как якорь, который еще не бросили.

Но запишу сюда, в черновик, как есть: пришло восемь. Одна из них не считается.

[ниже, мелким, впоследствии дописанным почерком:] Лампочка гудела всю ночь. Я спросил ее, правда ли это. Лампочка Гаффера не отвечает на вопросы — она гудит. Но в три часа ночи гудение стихло на один вдох, ровно на один, и я понял, что услышал ответ. Правда ли это, не знаю. А вот правда, что я испугался, — это я записал. Страх — единственная строка, которую я умею писать без черновика.

Запись шестая-половинная, ночная. Снилось: пишу строку, а она уползает с листа, как вода со стола, — и я гоняюсь за ней по лотку, мокрый, злой. Проснулся — лампочка гудела ровно, будки не было, строка лежала в тетради на месте. Записываю вывод, чтобы не забыть: сны писарей — это черновики, которые бумага отклонила. Не бойся снов. Бойся того дня, когда сон примут к печати. — Дальше спал без снов. Тетрадь на груди была теплой — она, оказывается, греется не только от страха. От сна тоже. Отпечатался о ней, как о печке.

Запись четвертая. Контора. Веду, потому что писарь должен знать дом, в котором пишет. Синяя тетрадь — живые, графа «отчитавшиеся» растет быстрее всех: люди умирают с этим спокойствием, с которым сдают отчеты. Зеленая — возвращенные, стоит на месте: возвращают не часто, зато навсегда. Бордовая — держатели, Рита не показывает ее никому, даже мне, и правильно делает: есть графы, которые не должны уметь читать чужие глаза.

Рита работает стоя. Спросил почему — сказала: «Сидеть — это когда счет сошелся». Сорок лет она и ее брат считали этот город по очереди, а теперь она считает за двоих и не жалуется, а я, которому стерли только имя, тридцать лет боялся чистого листа. Стыдно писать такое в чистовик. Записал в черновик — тут все равно все зачеркнуто.

Соня приходила вчера. Села, сложила руки, сказала: «Я считаю то, чего не вижу, а ты пишешь то, чего не было. Мы, выходит, пара». Я не знал, что ответить, и это правильно: в конторе не отвечают счетоводам, в конторе под ними подписываются. Но после ее слов я перечитал вечернюю тетрадь и увидел, что восьмая строчка вписана другим почерком. Моим. И не моей рукой.

[здесь лист был вырван и вложен обратно. Края неровные, как у страниц, которые долго держали в кулаке.]

Запись пятая, ночная. Спрашиваю себя, зачем конторе писарь, если город умеет писать сам. Отвечаю себе: книга Первого Нитевода не приняла Коллекционера тридцать лет — он писал ее рукой. Рука нужна книге всегда. Вопрос, чья, книга решает сама, и решает, похоже, раньше, чем человек успевает согласиться. Держатель отказывается — а книга тяжелеет. Что она копит, если не приход? Способов семь. Строк прибыло восемь. Одна не считается.

Графа, которую я боюсь, называется так: «Приход неизвестного плательщика».

Запись шестая, последняя на сегодня. Про лампочку. Гудит. Полгода назад я крал журналы у умирающих хранителей — помню все четыре: свет, пленка, вода, счет. Свет и пленку я забрал, воды не было дома, счет я не взял: счет весит больше человека. Теперь сижу у гудящей лампочки и думаю: счет всегда весит больше человека. Вот почему его и несут не одни.

Запись пятая-половинная. О первом уроке лампочки, дописанном задним числом. Гаффер умирал неделю — лежал в задней комнате Мо, которую она тогда еще называла подсобкой, — и за три дня до конца попросил меня принести лампочку к кровати. Он не говорил уже, только смотрел на нее. А лампочка гудела. Я сидел и слушал, и вдруг понял, что гудение идет ровнее, когда я смотрю не на старика, а на лампочку — и ровнее всего, когда я думаю о тетрадях. На третий день гудение стихло на один вдох — ровно тогда, когда Гаффер открыл глаза и сказал последнее: «Вот теперь по адресу.» — Он умер через час. Я полгода думал, что он про смерть. Теперь думаю: он про вопрос, который я задал мысленно, — «что останется». Гудение — ответ. Остается — гудение. Остальное — переписывают.

Лампочка, если это тебе интересно, гудит в ноте «ля». Гаффер про это знал. Я спрашивал. [зачеркнуто: он не отвечал. Ответила Мо, у нее слух на такие вещи. Записывай правильно, писарь.]

Я спросил Мо — она слушает эту лампочку лучше всех живых, — бывает ли, что лампочка молчит. Мо сказала: бывает. На один вдох — когда вопрос поставлен точно. И добавила, вытирая стойку, то, что я внес в досье как приметку писаря рынка: «Ты спрашивай у нее короче. У гудящих, как у дыр, — короткий вопрос, длинный ответ. Он, выходит, так же устроен. Спроси его коротко — получишь длинное. Спроси длинно — и он уже в твоей тет-

ради.» Я проверил потом: все мои длинные вопросы к нему — «кто сообщил крысам», «что он хочет» — заканчивались одинаково: строчкой, которой в моей тетради быть не могло. А короткие — «чья рука», «откуда восьмая» — заканчивались ответом. Коротко. Как гудение.

Запись седьмая. Рита прочла мой отчет про крыс у третьей арки. Читала молча, потом спросила одно: я написал, что крысы ждут человека, идущего по воде. Откуда крысам знать, что способ принят? Держатель принял его утром. К вечеру трое уже стояли у воды.

Я ответил не сразу — потому что ответ был страшнее вопроса. — Откуда крысам знать, что способ принят? — повторила Рита медленно. — Три ответа. Первый: кто-то следит за конторой — и следит давно, раз догадался о принятии за часы. Второй: крысы умеют видеть способы — Соня умеет, может, и они. Третий... — Она помолчала. — Третий: тому, кто сообщает, сообщают. Цепочка. Кто стоит на вершине цепочки — тот и не числится: звенья не видят звена. — Мо, слушавшая у плиты, сказала без оборачивания: «Третий. Я ставлю на третий. Кто умеет стирать след у крыс — тот слишком хорошо учился. Таких учат. Таких — я видела. Один был.» — Все посмотрели на нее. Мо переворачивала блин. — «Гаффер, — сказала она. — Не удивляйтесь так. Старые истории — как старые долги: их носят те, кто не платил.»

Не ответил. Она и не ждала ответа — она ставила галочку у строки, которая ей не нравилась. Потом сказала то, что я записываю дословно, потому что в чистовиках дословность — единственная роскошь: «Кто-то сообщает. Всегда есть кто-то, кто сообщает. Найди канал, писарь. У счетоводов есть счетовод, у рынка — свой».

Свой счетовод. Писарь у крыс. Тот, кто пишет то, что еще не случилось, — теперь работает против того, кто пишет то, что никогда не должно случиться. [зачеркнуто: красиво. Писать без украшений.]

Пересчет перед сном. Неделя: семь по графоману, восемь по мне, и одна строчка — чужая, лежит на дне, не подписанная. Я научился подписывать чужие строки тридцать лет назад. А красть журналы у умирающих — полгода назад, здесь, в этом городе. Теперь, видимо, называется конторой. Слова меняются, строки — нет. Подпишу и эту. Но не сегодня. Сегодня я записываю только вопрос, потому что вопросы — единственные строки, которые не стирают:

кто сообщил крысам?

ГЛАВА 3. НИЖНИЙ ЯРУС

Крысы, ждущие человека по воде, — это было вопросом, на который я не хотел отвечать в одиночку. Не потому что страшно: я профессионал, я умею падать с сорока метров. А потому что Гаффер учил — дверям решать, кого пускать, и с той ночи у меня за спиной стояла дверь, которая решала лучше меня.

Я спустился вниз за полночь, когда комендантский час делал улицы честными: ночной Сент-Уинд не притворяется, ночью он показывает, кто есть кто. Верхние дороги кончились, потом кончились улицы, потом лестница пошла под землю — нижний ярус, рынок, где закон заканчивался раньше, чем кофе, а запахи стояли слоями: лук, озон, мазут и что-то новое, четвертый слой, которого я здесь не слышал.

Это пахло бумагой. В подземелье пахло свежей бумагой.

Рынок жил. Он всегда жил, но теперь жил по-другому: торговали тем же — батарейки, жетоны, котелки с дырой, — а вот покупатели стояли иначе. Раньше здесь стояли и торговались. Теперь половина стояла и слушала. У лотков, где ничего не продавалось, собирались люди с пустыми руками и смотрели на продавца, как смотрят на объявление, которое еще не прочли. Я встал в такую толпу за спиной — профессия.

Продавцом оказался знакомый тип. Не лицом — лиц у яруса не помнят специально, — а жестом: он держал руки так, как держат руки люди, которые привыкли, что их руки проверяют. Сухие, аккуратные, пальцы сложены штабелем. Я видел эти руки однажды, на площадке, у нового человека на подстраховке, который пересчитывал карабины. Три раза. Не проверял — пересчитывал.

Он торговал не вещами. Он читал вслух из маленькой книжицы — не из той книги, из обычной, потрепанной, — и толпа слушала, как слушают новости:

— Водяной, живой, источник подтвержден. Уходит на юг, к причалам. Стартовая цена — две недели. Оплата — сроком.

Две недели. Я знал этот словарь: не деньги. В том первом так платил я — сроками, кусками жизни. Торговля способами за сроки — это было не ново, это было древне, как сами способы, но здесь, в ярусе, она стояла открыто, с ценником, и никто не смотрел по сторонам. Когда воровство становится лавкой, у нее появляются примерочные.

— Вопросы? — сказал продавец, и толпа молчала молчанием покупателей.

Я молчал молчанием свидетеля. И тут человек с сухими руками поднял глаза и посмотрел прямо на меня — не в лицо, в грудь, туда, где под курткой лежала книга. Он не мог ее видеть. Он просто знал, где у таких, как я, лежит то, что они несут.

— Сегодня без очереди, — сказал он толпе, не сводя глаз с меня. — Для своих всегда есть место.

Своих. Подземелье выдохнуло вместе со мной. Я стоял в толпе людей, которые только что услышали, что я — свой, и ломал голову, каким именно образом человек с сухими руками собирается это доказать.

Доказательство пришло с той стороны, откуда я не смотрел. Двое отделились от лотка — крупные, спокойные, с тем оружием, которое не выставляют напоказ, а носят так, чтобы оно считалось само, — и пошли по диагонали, перехватывая выход к лестнице. Профессионалы. Я оценил расстояние до ближайшего пролета, до трубы, до тени за бочками — и оценил, что все три оценки мне не помогут: они шли так, как ходят к должникам, которых уже нашли.

Их остановил шум. Не выстрел — шум. С той стороны, где ярус переходил в старый тоннель, поднялась суeta: грохот, крики, звон железа о железо — и через толпу прошел слух быстрее людей: — Охотники. Охотники в тоннеле, у площадки разборки.

Площадка. В этом городе это слово имело один хозяин.

Двое моих сопровождающих переглянулись и пошли на шум, потому что в ярусе порядок такой: сначала громкое, потом тихое, а я остался стоять посреди рынка с чужим ярлыком «свой» на груди и с пониманием, которое пришло быстро и грязно, как вода из-под лотков.

Они хотели не драки со мной. Они хотели зрителя. Человека с книгой на груди, который видит их рынок и ничего не делает, — зрителя, который потом всем расскажет: видел, считал, молчал. Легитимность Коллекционер покупал вежливостью; этот покупал свидетельствами.

Я пошел на шум сам — уже не зрителем, а дублером, который знает, что сцена без него все равно его.

Тоннель у старой площадки я знал: Кэб два года таскал туда мешки и ворчал на свет. Сейчас там горели фонари — керосиновые, наших, студийных, с пометками невидимым маркером, — и под их светом разыгрывалась сцена, которую Кэб, судя по голосу, ставил не по сценарию.

— Еще раз, — гремел он. — Еще раз объясни, зачем мои карабины на твоём поясе. Медленно. Я старый, я люблю медленно.

Против него стояли трое. Охотники — я видел таких еще в том году, они ходили за ядрами классов, когда ядра еще были товаром. Эти были новее: ни автоматов, ни шума. У одного — веревка с удавкой, у второго — арбалет гражданской сборки, у третьего ничего, и от этого ничего было неуютнее всего.

— Аренда, старик, — сказал тот, что с веревкой. — Площадка наша с субботы. Договор есть.

— Договор, — повторил Кэб и повернулся к своим ребятам — пятеро бывших постановщиков и грузчиков, молчащие люди с досками и фонарями. — Слышали? Договор. А я

думал, карабины сперли. Приносите тогда договор сюда, положим на мешки — мешки у меня калиброванные, все проверим.

Тот, у кого ничего не было, сделал шаг вперед — и в этот шаг я вошел со своей стороны, в маске, по диагонали, как учат выходить на сцену, чтобы зритель видел силуэт раньше лица.

Маска встретила его намерение раньше, чем он сам его признал.

Я увидел витрину — свою, дьявольскую, ту самую, которую маска выставляет, когда хочет кого-то напугать, — и за стеклом витрины читалась мысль, еще не ставшая приказом: сначала старика у мешков, потом остальных, потом допрос про книгу. Простая, работающая мысль. Охотничья.

— Эй, — сказал я в тишину, которую фонари делают всегда, когда на них смотрят. — А без договора как?

Тот, с пустыми руками, обернулся. Маска посмотрела на него обоими глазами — я так и не понял, каким глазом, а может, обоими, — и он отступил. Не испугался: встал, как встают перед тем, что старше по рангу, — ровно, с паузой, как будто решал, к какому совещанию пришел не по адресу.

— Снимите его, — сказал он двум остальным, не мне, и тон у него был деловой, как у человека, который отдает распоряжения складом.

Веревка пошла вверх, арбалет поднялся — и Кэб, не повышая голоса, сказал то, что говорили на всех его площадках:

— Страховку не отстегивать.

Это было наше слово. Наше с ним. Трое охотников не знали, что это значит, — а Кэбиной бригаде хватило: доски встали в ряд, фонари развернулись в стену света, и я поймал нить — золотую, свою, из запястья — за крюк трубы над головой и ушел вверх в то мгновение, когда веревка с удавкой пришла в пустое место, где у тихих сценариев должна была быть моя шея.

Наверху, на трубе, я сорвал один из керосиновых фонарей и бросил между арбалетчиком и его ногами — не в него, меж, чтобы свет стал неудобным всем, — а потом уже сверху, сверху всегда лучше, я посмотрел на рынок сквозь маску и увидел то, за чем пришел.

Все лотки с книжками. Все толпы слушающих. Все сухие аккуратные руки — одновременно обернулись к тоннелю. К свету. К шуму. Вся ярмарка повернулась одним телом, и в этом повороте было что-то от кассы, от счетоводов, от людей, которые знают, где должна лежать их запятая. Рынок реагировал как контора. Кто-то его писал.

Выбираясь из яруса, я зашел к Кэбу — проведать площадку. Он сидел на ящике и хмурился на тоннель, как хмурятся на чужого ребенка, который трогает инструмент. — Ты чего, старик? — Карабины кто-то считает, — сказал он. — Ночью. Стоят, пересчитывают, уходят. Я встаю — все на месте, все завернуто. А осадок — как от аудитора. — Он плюнул — сделал вид, что плюнул. — Бригада моя. Площадка моя. Приходи на сверку в субботу — сверим, чьи тут руки ходят. — Я пообещал прийти и пошел домой, а в голове вертелось: считают чужое имущество. Не крадут — считают. В этом городе счет всегда был первым шагом к чему-то второму.

Я ушел по трубам, пока фонари переставали быть нашими, — и все пути домой я чувствовал между лопатками взгляд человека с сухими руками, который так и не поднял на меня глаз, но записал.

Записал — я это знал так же верно, как знаю натяжение троса.

На двадцать втором я снял маску и долго смотрел на нее. Белое крыло было теплым. Шип — тоже. Обе половины — впервые за полгода. Она молчала обеими сторонами, как молчат люди, которые знают больше, чем сказали, и ждут, что догадаешься сам.

— Ладно, — сказал я ей. — Я догадался. Ты показываешь раньше.

Маска не ответила. Маски не берут обещаний — они их показывают.

ГЛАВА 4. СЧЕТ

(окна Системы и кассы. Редко. Сухо. Ценно.)

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Приход книги: +7 способов за 7 дней. Средний приход за предыдущие 140 дней: 2,1 способа в неделю. Отклонение: кратно 3,3. Комментарий не предусмотрен.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Обнаружено: незарегистрированная передача способа. Место: нижний ярус, сектор 9. Способ: не идентифицирован. Получатель: не идентифицирован. Свидетель: отсутствует. Статус: бродячий. Рекомендация не предусмотрена.

[СИСТЕМА]

Уведомление. Идентификация держателя №3. Запись в книге: не найдена. Поиск в тетрадах конторы: не найдено. Поиск в списках города: не найдено. Примечание: субъект существует. Записей о субъекте не существует. Расхождение: не классифицируется. Комментарий не предусмотрен.

[СИСТЕМА]

Уведомление. Реестр держателей. №1. Первый Нитевод. Статус: касса. Запись закрыта. №2. Запись не найдена. Поиск в книге: не найдено. Поиск в тетрадах: не найдено. Поиск в памяти свидетелей: не найдено. Примечание: записи №2 не существует вместе с тем, кто ее вел. Кто стирает держателя — стирает и память о держателе. Вопрос для сверки: может ли книга спросить с того, кого никто не помнит? Ответ: не классифицируется. Комментарий не предусмотрен.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Зафиксирована торговля: сроки жизни в обмен на способы. Место: нижний ярус. Стороны: не идентифицированы. Оценка: не требуется. Примечание: сроки — валюта держателей. Торговля валютой держателей лицами, не являющимися держателями, в регламент не входит. Регламент не предусмотрен.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Зафиксировано: изъятие сроков. Метод: приложение ладони ко лбу, убыль фиксируется визуально — человека шатает, как шатает вагон при тормозе. Примечание: сроки — валюта держателей. Чужие руки в валюте держателя — это подделка, которая проходит. Дежурная касса, ознакомившись с уведомлением, отметила: «Сроки брали всегда — так брали, что не видно. Теперь берут при всех, и все смотрят в сторону. Значит, следующий шаг — брать так, чтобы смотрели. Вот этого я и боюсь.» Запрос на комментарий кассы: отклонен. Касса: «А я и не комментировала. Я отметила.»

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Запрос на сверку отклонен. Основание: сверка возможна только при расхождении счета. Расхождение счета: отсутствует. Примечание: счет не расходится. Счет копится.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Якорь. Бронзовый гвоздик с головкой-ласточкой: вес уменьшился еще на долю волоса за месяц — не от списаний, списаний нет. От соседства с книгой. Примечание: якорь платил за держателя; держатель платит за якорь работой — не вместо, а рядом. Так платежи и сходятся: не друг за друга, а бок о бок. Комментарий не предусмотрен. Касса-дежурная, прочитав, отметила в журнале: «Держится. Отметила.»

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра]

Дыра, восточная граница. Дышит раз в 57 секунд. Ровно. Прежде дышала раз в минуту. Учащается? Нет. Ровность — это уже не ровность, это график. Дыры не должны держать график. Дыры должны дышать, как дышат.

Отметила. Больше ничего не сделала. Я — без.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра]

Та же дыра. Раз в 54 секунды. Замечание себе: перестань считать. Ты не графоман. Замечание себе же: графоман хотя бы записывает. Записала.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра]

Приходил графоман. Сел на корточки рядом, открыл блокнот, молча сверили. У него — семь способов за неделю. У меня — пять дыханий. Мы посмотрели друг на друга, как смотрят счетоводы, у которых расходится итог при сводке, и оба пошли пересчитывать: он — в свой блокнот, я — по секундам дыхания дыры. Итоги не сошлись у обоих. Графоман ушел, что-то бормоча про упрямую науку. Я сижу и думаю: если счет не сходится у двоих, кто считает третий?

Принцип сверки кассы, внесенный ею же: «Я считаю дыхания — не способы. Способы считает он, дыхания — я. Расхождение не в цифрах — в предметах: кто считает одно, а кто другое, тот всегда расходится. Сошлись мы — не потому что стали считать одинаково. Потому что стали называть, кто что считает.»

Мы посверялись молча — по обе стороны скамейки, как сверяются люди одной профессии, которым нечего доказывать друг другу. Потом графоман сказал, глядя на дыру: «Сэр, я ей не завидую. Она дышит — и все. А я считаю — и меня слышат. Вот вам весь мой афоризм на сегодня, сэр: дышать — не значит считаться.» — И, помолчав, добавил то, от чего у меня по спине прошло тепло: «Умер я, сэр, — не страшно. Страшно — чтобы дышали, а не считались. Вы уж, если что, — посчитайте меня вслух. Я проверял: графоманов вслух не вычеркивают. Мы — бесполезны для стирания: нас никто не запоминает и так.» — Касса, услышав это от меня вечером, записала в журнал: «Отметила графомана. Кто просит посчитать вслух — тот уже числится.»

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Приход книги: +1 способ за 3 дня. Отклонение: в пределах нормы. Примечание: норма изменена. Новая норма: до 10 способов в неделю. Основание изменения: не требуется.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Вопрос зафиксирован: «Кто будет сверять?» Ответ: запрос — книга взывает сама. Сверяющая сторона не требуется. Свидетельская сторона: дежурная касса. Примечание: свидетельская сторона ослаблена. Плановая замена: отсутствует.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра]

Раз в 51 секунду. Он приходил смотреть. Стоял далеко, как стоят люди, которые не хотят мешать работе. Я знаю, кто он. Он знает, что я знаю. Мы не говорим об этом, потому что нам обоим положено только отмечать. Отметила его приход. Он отметил мою отметку — кивнул. Так и работает сверка после того, как кассу отпустили: киваем друг другу в темноте и делаем вид, что кабинка еще стоит.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Бродячих строк в городе: 4. Десять дней назад: 1. Тридцать дней назад: 0. Источник бродячих: не идентифицирован. Примечание: строки рождаются без свидетелей. Строки, рожденные без свидетелей, не имеют владельца. Строки без владельца гуляют.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Последнее уведомление до новолуния. Приход: достаточный для продолжения. Графа «Расход»: не заполнена. Напоминание не требуется. Книга считает сама.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра]

Раз в 49 секунд. Приходил человек, которого я не смогла отметить. Стою, значит, смотрю на дыру — и вдруг понимаю, что сбоку кто-то есть. Обернулась: пусто. Обернулась обратно: никого. А в журнале — вот эта строчка, которую я сейчас пишу, значит, что-то я все-таки

видела. Пишу и рука не верит. Касса, которая не может отметить. Это как дыхание, которое не считаешь. Отметила факт неметки. Пусть реестр сам разбирается. Только реестр, похоже, тоже уже не весь на месте.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, последняя запись перед новолунием]

Раз в 48 секунд. Дыра дышит чаще, а мне все труднее дышать. Не умирать — просто стоять. Кабинка станет самообслуживанием, я уже вижу табличку. Скучаю по ней заранее, как скучают по людям, которые еще не уехали. Он придет на новолуние. Он всегда приходит, когда цифры круглые. Я посмотрю на него и скажу то, что говорю всем, кого провожаю: — А я — без. Пусть запомнит эти слова хорошо. Когда-нибудь он спросит у меня, правильно ли он их понял. Я отвечу: а вот это ты у книги и спроси. Отметила.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Вопрос зафиксирован: «Почему восьмая молчит?» Ответ: запрос не по адресу. Примечание: держатель задал его книге. Книга — не адресат вопросов про восьмую. Адресат — тот, кто пишет первым. Держателю рекомендовано не искать адресата. Адресат знает про вопрос. Себестоимость знания: вопрос.

[СИСТЕМА]

Уведомление. Сверка счетоводов. Графоман: слухов за неделю — 14. Дежурная касса: 11. Расхождение подтверждено: трое. Кто считает третий — тот, кто не подписался. Графоман внес в блокнот: «Сэр, я боюсь этого третьего меньше, чем расхождений в ноль. Расхождение в ноль — это когда оба ошиблись одинаково. Это — подпись.» Касса, прочитав, добавила в журнал: «Не бойся подписи. Бойся одинаковых ошибок.»

[СИСТЕМА]

Статистика обращений к свидетельской стороне. 140 дней назад: 14 обращений в неделю. 30 дней назад: 6 обращений в неделю. Текущая неделя: 2 обращения. Оба обращения: от графомана. Примечание: люди перестают замечать свидетельскую сторону раньше, чем свидетельская сторона перестает ходить. Это не ослабление. Это тренировка забвения. Забвение не требует комментария.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра]

Мальчишка-курьер принес мне чай в банке из-под кофе. Стоял, пока пила, потом сказал: тебя тут скоро не будет, да? Я спросила, кто сказал. Он пожал плечами: так, все говорят. Ты стала забываемой, тетя. Раньше я тебя замечал каждый день, а теперь — вспоминаю, что надо зайти. Как с день рождением. Записала. И долго после не смотрела на дыру, смотрела на банку. День рождением. Мальчишка уже забыл, как говорить это слово. Забвение не стирает большое. Оно стирает мелкое сначала — падежи, лица, дорогу к кабинке. Так сходят со счета: не вычерком, а тлей.

[СИСТЕМА]

Уведомление. Реестр держателей. №1. Первый Нитевод. Статус: касса. Запись закрыта. №2. Не идентифицирован. Запись стерта третьим держателем. [пометка заглохла и не дописана] №3. Записей не существует. См. предыдущее уведомление. №4. Коллекционер. Статус: сторож. Прошел метр. Имя берегла касса. Запись открыта. №5. Действующий. Приход: ведется. Расход: не заполнен. Примечание: в реестре четыре строки. Одна стерта, одна не существует, одна закрыта. Активная строка: одна. Вопрос для сверки: что надежнее — одна активная строка или одна стертая? Расхождение: не классифицируется.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра]

Раз в 50 секунд. Вспомнила ту ночь. Биржа, свет, сто пятьдесят человек увидели свои нити — и я среди них стояла в стороне, потому что мне положено только отмечать. Я смотрела на них и думала: вот оно, сверкание, вот оно, как бывает, когда счет сошелся. И ни разу не спросила себя, сколько стоит сверкание, пока не стемнело и не пришлось считать заново.

Теперь знаю. Сверкание стоит ровно столько, сколько стоит привычка к нему. Дальше — только осмотр. Записала, чтобы не забыть. Записала вслух — чтобы кто-нибудь подхватил.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Зафиксировано обращение к графе «Расход:» со стороны держателя. Характер обращения: просмотр. Без попытки заполнения. Интервал обращений: сокращается. Примечание: шахту лифта проверяют чаще, когда кабина приближается. Комментарий не предусмотрен.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, ночная]

Не спится. Сажу у кабинки, она мне уже снилась с табличкой. Думаю о держателе №5. Он молод. Не годами — строем: держатели должны быть старыми и уставшими, у держателя должна быть спина, которой удобно сутулиться над книгой. А у него спина каскадера, он и сидит над книгой, как над ямой: на корточках, наготове. Мне его жаль. Мне жаль всех, кто получает книгу раньше, чем спину. Но жалеть держателей — не моя графа. Моя графа: отметить. Отметила: ему жаль. Пусть и это куда-нибудь идет.

ГЛАВА 5. ТО, ЧЕГО НЕ ВИДИТ СОНЯ

Соня позвала меня не словами — она позвала меня молчанием. Пришла в четверг, не в субботу, села напротив и сказала: «Сегодня ходим. Я нашла, где». У Сони слово «нашла» весило как у других «доказал»: она три недели считала то, чего не видела, и итог, видимо, сошелся.

Мы спустились к старому руслу за полночь — я, Соня и ее тишина, которой она ходила, как другие ходят с фонарем. Канал делал свое черное дело: плыл мимо, никуда не спеша, и я впервые за годы стоял у воды без мысли о том, что она холодная. Способ лощмана лежал за шеей ровным и тихим, как хорошо сделанная работа: он не тянул меня к воде — он стоял рядом со мной и смотрел на воду вместе, и это было новое чувство, похожее на то, как ходят рядом с тем, кого зовут по имени.

— Вот здесь, — сказала Соня у третьего причала.

Пока вода решала, Соня говорила — редко и как говорят в темноте, короткими фразами. Я спросил, когда она начала считать. Она сказала: «С четырех. Мать считала деньги — вслух, потому что вслух не воруют. Я думала, так и надо: деньги вслух, людей про себя. Потом дыра съела наш двор — не ту, которая дышит, а ту, которая молча стоит, — и мать перестала считать. А я — нет. Я пошла считать людей. Оказалось — людей вслух считать можно только одно: можно ли им верить.» — Она помолчала. — «Так что я не гадалка, ангел. Гадалки смотрят вперед. Я смотрю — что осталось. Вперед смотреть — это дорого. Остатки — бесплатно». — Я запомнил: вот откуда берется второй сверщик конторы. Из двора, который съела молчаливая дыра. Из матери, которая перестала. Кто считает остатки — тот никогда не удивляется.

— Здесь что?

— Здесь счет не сходится.

Она говорила о счете, как говорят о погоде — буднично, — и только руки ее на коленях сложились теснее. Я сел на причальную тумбу, готовый ждать: у Сони рабочий процесс был не быстрее рассвета, и торопить ее было все равно что торопить саму Систему.

— Ты знаешь, что такое бродячая строка? — спросила она минут через десять.

— Строка без владельца. Рождается без свидетеля, гуляет.

— Я их считаю. — Она посмотрела на воду. — Мне не объяснили, что они такое. Я просто начала видеть: вот человек прошел, и за ним осталось что-то, как после лодки — кильватер. У записанных способов кильватера нет: они лежат в книге, книга их держит. А у этих — остается. Я их считаю уже месяц. И ангел... — она впервые за вечер дрогнула, одним словом, как дрожит строка, когда под нее подставляют палец, — их больше, чем нас.

— Нас — это кто?

— Записанных. Понимаешь? Они уже больше нас. Я пересчитывала трижды. Кильватерных — больше, чем с записью. Город расходится на ходу, и расходится так, что ни один счетовод не поймает: потому что счетоводы считают записи. А их нет в записях. Они — расход, которого нет в приходе.

Вода у причала шевельнулась. Не волной — шорохом, как шевелится верхняя одежда спящего, и из темноты под третьей аркой вышел человек.

Он шел по набережной так, как ходят люди, у которых внутри нет хозяина: ровно, быстро, глядя перед собой, и при этом его шаги не совпадали с эхом его же шагов — эхо запаздывало, будто шло само по себе, отдельной строкой. Я видел в нем то, что описывал графоман, как умел: человек, которому продали чужой способ, продали вторично, и способ в нем не прижился — не лег в книгу, потому что перепродажа не бывает записью. Он шел с чужим внутри, как носят чужую одежду в дождь: согревает кое-как, а чужое все равно видно.

— Он купил, — сказала Соня почти беззвучно. — Видишь, как он идет? У него двое шагов. Один его, второй — того, у кого взяли.

— Откуда знаешь?

— Я их считаю, — повторила она. — Когда человек со способом идет мимо, я вижу одну строку. Когда человек со строкой — две. Одна всегда старше другой на несколько шагов. И ангел... старшая никогда не угадывает повороты. Она идет прямо, даже когда он сворачивает. Поэтому у него эхо запаздывает.

Человек прошел мимо нас на десять шагов и не заметил — а потом остановился. Не обернулся — остановился, как останавливается лента, когда пленку рвет. Стоял спиной, и я увидел, как по его плечу пробегает дрожь — не озноб, скорость: кто-то внутри него пробовал руль.

— Надо увести его от воды, — сказала Соня неожиданно твердо. — Он идет к воде. Старшая строка идет к воде всегда — она помнит, откуда ее взяли. Способы хотят домой, ангел. Все хотят домой. Даже чужие.

Я спросил у себя, с каких пор спасение утопающих стало моей работой, — и тут же вспомнил, что это, собственно, была моя работа всегда: падать туда, куда никто не хочет лезть. Только теперь вода меня знала по имени, и это меняло дело с ног на голову: раньше я рисковал, теперь меня звали.

Человек с двумя шагами дошел до края причала и начал снимать ботинки. Медленно, аккуратно, как снимают обувь перед чьим-то порогом, — и Соня сказала: «Сейчас старшая сядет за руль». Я пошел к нему по бревну, не бегом — бег пугает чужих, — и сел рядом на корточки, наготове, как сидят у ям.

— Холодная, — сказал я про воду. — Торфяная. Канальная. Самая неудобная вода в городе.

— Я плавал в ней всю жизнь, — сказал человек глухо. И я понял, что это не он. Голос был его, а распорядок — чужой: слова легли в него, как вещи в чужой чемодан. — Я из нее и есть. Меня продали, друг. Меня продали дважды, и второй раз — без бумаг. Я иду домой. Домой идти не запрещено.

— Домой можно, — сказал я. — Ботинки только оставь. В дом, где ты был, ботинки не пускают — там счет по босым.

Он обернулся. Лицо у него было обычное, уставшее, тридцать плюс, таких на набережной — тысяча, и именно это было страшно: строка в нем сидела в обычном лице, как сидит долг в обычном кошельке. — Он плакал, когда продавал, — сказал человек. — Это меня и убедило. Думал, раз плакал — не обманет. А он простил себя заранее. Так все и покупают: на чужих слезах со скидкой.

Соня подошла сзади и положила руку ему на плечо — просто, без света и без чудес, как укладывают детей.

— Посчитай меня, — сказала она. — Ты же считаешь. Посчитай меня, и я посчитаю тебя. Вслух.

И они посчитали друг друга, сидя у черной воды: девчонка с выросшим счетом и человек с двумя шагами, и старшая строка в нем, услышав, что считают вслух, — замерла. Не ушла. Замерла, как замеряют спор, который решили отложить. Человек вздохнул первым за весь вечер своим вздохом, надел ботинки и пошел домой, к своей настоящей, — а я видел, как вторая его тень прошла с ним несколько шагов и осталась у причала, тонкая, как кильватер после лодки.

Соня смотрела ей вслед и молчала. Потом сказала то, ради чего, как я понял, нас сюда и звали:

— Она не ушла в воду. Она осталась. Их не вычеркнуть, ангел — их можно только посчитать. А их больше, чем нас. — Она взяла меня за рукав, как брали под руки в первую неделю после Раскола. — Кто будет считать, когда тебя стерут?

Вопрос висел над водой ровно столько, сколько нужно, чтобы стать холоднее воды. Я не ответил. Ответ был, так сказать, уже утвержден, только я еще не знал, что ответ этот — страшнее любого бродячего.

— Идем, — сказал я. — Ты замерзнешь.

— Я не мерзну, — сказала Соня. — Я считаю. Это разные работы.

По дороге домой я попробовал то, чему учила меня эта ночь, — считать вслух, не числа: слова. Считал все, что осталось: воду, которая не взяла человека; старшую тень, которая осталась у причала и стояла, глядя нам вслед, — Соня обернулась и помахала ей рукой, как машут соседям; сорванную строку, которая все-таки оборвалась, — потому что не всех удержишь, и это тоже счет. Соня слушала, шаг в шаг, и сказала в конце: «Ты считаешь остатки. Значит, понял. Остатки — это то, что город должен. Все остальное он уже отдал.» — Я спросил, кому город должен столько остатков. Она сказала: «Тем, кто еще не пришел за ними. Теням, строкам, именам. Мы — касса остатков, писарь. Я — первая сверка, ты — второй. Кто придет третьим — тот и будет держателем.» — И я пошел домой с этим словом, как с квитанцией, которую еще не внесли.

Мы зашли в контору по дороге — Соня настояла: «Рита должна услышать сразу. Такие цифры не хранят до утра». Контора ночевала на посту: Рита с тетрадами, Черновик у стены, лампочка Гаффера над лотком гудела тише обычного, как гудят, когда в комнате говорят цифрами. Соня села на свое место и положила на стол ладонь, раскрытую, как кладут на весы.

Рита выслушала про кильватерных и не удивилась — она вообще не удивлялась, она заводила графу. Достала чистую тетрадь, серую, с клеенчатым корешком, и написала на форзаце: «Бродячие». — Синяя — для тех, кто лег, — сказала она. — Эта — для тех, кто ходит. Кто ходит, того не впишешь силой: строка должна лечь сама, как ложатся вещи, когда хозяин дома. — Она попробовала вписать первого — описала глазами Сони человека с двумя шагами, зафиксировала маршрут, закрыла тетрадь. — Видишь? Не легло. Она еще хозяйку ищет, а не страницу. — И добавила, глядя на меня: — Не гонись за ними, дублер. Ходящих не догоняют — им свет ставят. К свету они сами.

— Их больше, чем нас, — сказала она. — Я пересчитала трижды.

Рита не удивилась. Это мне ударило сильнее цифры: она взяла ручку, открыла чистый лист и только спросила: «Сколько больше?» — потому что Рита двадцать лет вела забегаловку на краю мира и знала: паника пишется от руки, паника пишется в итог.

— На семь, — сказала Соня. — Сегодня. Месяц назад — на одного. Я не знаю темпа, я знаю только знак. Знак плюс, Рита.

Черновик у стены написал что-то в своей тетради, и я заметил, как Рита посмотрела на его руку — коротко, счетным взглядом. Потом она перевела глаза на меня.

— Запиши в книгу, — сказала она. — Не способ — цифру. Книга должна знать, что мы знаем.

— А если она уже знает?

— Тем более, — сказала Рита и поставила точку, которой еще не было ни в одной ее тетради: точку в конце вопроса. — Кто считает, когда его стерут, — это вопрос на всю книгу, дублер. Задай его громче.

Лампочка гудела, Соня считала, Рита писала, а я стоял посреди конторы и чувствовал себя графой, которую в документе все обошли: каждый здесь считал что-то одно, и только я — то, что приходилось мне, а приходилось мне, похоже, все.

И мы шли по набережной, а за нами, километр за километром, город оставлял кильватер — тонкий, невидимый, уже длиннее нас.

ГЛАВА 6. КАНАЛ

(черновик писаря конторы)

Рита сказала: найди канал. У счетоводов есть счетовод, у рынка — свой. Свой писарь, который сообщает крысам, что способ принят, еще до того, как он принят. Я спросил, с чего начать. Она ответила то, что отвечают все начальники контор: с себя. Писарь ищет писаря с той же ловушкой, с какой швея ищет швею: по стежкам.

Вниз я спустился не один. Со мной — Соня, потому что она сказала: «Ты ищешь того, кто пишет раньше. Я вижу тех, кто идет позже. Вдвоем закроем день с двух сторон». Рите это не понравилось, Соня пошла все равно: в этой конторе счетоводок не спрашивают, счетоводок подписывают.

Ярус встретил нас бумагой. Я знал этот запах тридцать лет: так пахнут страницы, которые пишутся не для чтения. Торговля шла полным ходом — вечерняя смена, лучшая для наблюдения: лампы, тени, неспешность профессионалов. Я встал у опоры, открыл тетрадь на колене и стал считать стежки.

Стежок первый: объявления. Охотники не кричат — они читают. У каждого лотка стоит человек с книжицей, и книжицы у всех одинаковые: одинаковый формат, одинаковые корешки, переплет потерт в одинаковых местах. Тираж. Писарь рынка работает не в одиночку — он работает типографией. Мне, тридцать лет писавшему одному за одного, это было оскорблением профессии и облегчением делу: типографию видно издалека.

Стежок второй: сроки. Все цены — сроками, и сроки эти ровные: две недели, месяц, три. Крысам не положено знать, сколько весит срок, — сроки взвешивают держатели, и удержателей здесь не видать. Значит, вес сроков писарю известен из книги. Он держал книгу. Он держал МОЮ книгу, — нет, не мою, не мою, записал я и перечеркнул: гордость писаря — болезнь писаря. Он держал книгу держателя. Он был при ней. Он — третий. [зачеркнуто совсем недавно, чернила еще свежие: не бежи вперед, писарь. Пиши, что видишь.]

Стежок третий: Соня тронула меня за плечо и показала глазами на лоток у воды. Торговали там тихо, без книжицы, — один на один, и покупатель стоял лицом к стене, как стоят на больничном коридоре. Продавец получил срок — не в бумаге: приложил ладонь к его лбу, как читают температуру, и я увидел, как покупателя шатнуло — не слабость, убыль. Отсчитали прямо из него, при мне, при Соне, при всех, и никто не смотрел, потому что у рынка, как у площадки, есть место, куда смотреть не принято.

Я записал. Рука не дрогнула — я тридцать лет писал за умирающих, дрожь давно вышла в тираж. Дрогнуло другое: я перечитал строчку и не узнал почерк. Мой почерк, мои буквы, а строчка читалась, как будто ее написал кто-то, кто меня не знает.

Стежок третий с половиной — о себе, потому что Рита права: начинать с себя. Я полгода назад крал журналы у умирающих хранителей. Взял свет и пленку — у маяка и у «Родины». Вода, счет — не взял: счет весит больше человека, а вода — вода сама решает, кто ее несет. Теперь вспоминаю и вижу симметрию, которую не увидел тридцать лет: я брал записи у тех,

кто умирал, чтобы Коллекционер мог их копить. Новый писарь берет записи у живых, чтобы никто никогда не умер — просто перестал числиться. Между мной и им одна разница, и я записываю ее вслух, при лампочке в свидетелях, чтобы не забыть: я тогда писал в чужую книгу и не верил в нее. Он пишет против книги — и верит настолько, что стирает само написанное. Вера такого сорта, как видите, опаснее атеизма: атеист хотя бы оставляет страницу.

Стежок четвертый, ночной, уже дома. Я свел записи дня с записью недельной давности и увидел вещь, от которой лампочка Гаффера замолчала на весь вечер, — а она молчит только тогда, когда молчать опаснее, чем гудеть. В тетради, в записи за прошлую неделю, пропала строчка. Не зачеркнута — зачеркнутое я умею читать, зачерк оставляет рельеф. Пропала чисто: бумага цела, строка вышита из текста так, что соседние строчки сдвинулись и закрыли дыру, и только межстрочный интервал, мой старый, выдержанный интервал, выдал место: он оказался шире на один дых.

Что было в строчке, я помнил. Я ее написал.

Она была про человека с сухими руками.

[страница обрывается здесь. Ниже, другим почерком — ровным, аккуратным, почерком того, кто привык, что его руки проверяют:]

Ты пишешь хорошо, писарь. Ровно, как писал я когда-то, до того, как понял, что писать — значит числиться. Оставь себе одну графу, и я оставлю тебе все остальные. У тебя талант, который я уважаю: ты умеешь писать то, что еще не случилось. Работай на меня — и то, что еще не случилось, будет случаться с тобой.

Я не спал до рассвета и делал то, что умею лучше всего на свете: перечитывал. Проверил все свои тетради, все записи месяца. Строк не хватало семь. Семь строчек, вышитых так, что соседний текст закрыл дыры — но мой межстрочный интервал, выдержанный за тридцать лет, выдал каждое место: шире на один вдох, ровно на один. Кто-то стирал меня аккуратно, экономно, как стирают долги, которые решили не признавать.

А потом я дошел до восьмой.

Запись пятая-половинная. О вышитом, что помню. Семь дыр в моей тетради — я ведь пересчитывал, пока Рита не отняла руку. Что там было? Двое вспоминаю по соседям: строчка про аукцион у галереи — та, что исчезла еще до галереи; и строчка про человека с сухими руками — ту я переписал заново, и она легла, и никто ее второй раз не трогал. Видите закономерность? Вышивают не любые строки. Вышивают те, которые я еще не подписал. Кто стирает у писаря — тот боится не текста. Боится подписи. [дописано позже, другим почерком:] Рита читала и сказала: «Запиши и это. Подпись — единственное, что не вышьешь.»

Той самой, чужой, которая лежала на дне еще с первой недели — пришлось восемь, одна не считается. Я снял ее с дна, разгладил внутренним дыханием, как разглаживают страницу, и прочел. Я не помню, чтобы писал это. И помню. Обе вещи сразу — так со мной случалось один раз в жизни, в ночь, когда меня списывали, и я до сих пор не знаю, что из двух было правдой. Восьмая строчка была про человека с сухими руками. Дословно совпадала с вышитой строчкой. Он стер у меня то, что я еще не написал.

[здесь я долго смотрел на лампочку. Лампочка Гаффера ничего не знает про страх чистого листа: ее гудение старше любого листа. Я спросил ее вслух: он сильнее тебя? Лампочка гудела. А вот Гаффер, подумал я, Гаффер молчал сорок лет и выиграл. Значит, сила не в том, чтобы стирать. Сила — в том, чтобы остаться написанным.]

Утром я пришел к Рите и положил перед ней обе тетради — мою и ее бордовую, которую она не показывает никому. Спросил разрешения. Она молчала минуту, потом открыла бордовую и сама увидела: графа «держатели» стояла целая, а в ней — дыра. Строка про третьего держателя, которую Рита переписывала рукой брата и которую я знал наизусть, потому что переписывал за ней, — исчезла. Бумага цела. Тетрадь тяжелеет, а запись испаряется: книга копит приход, а кто-то учится снимать его с бумаги.

— Он стирает не людей, — сказала Рита медленно, и я услышал, как в ее голосе впервые за год работала не бухгалтерия, а женщина, которая двадцать лет держала контору на краю мира. — Людей стирать мы умеем сами, без него. Он стирает связи. Между строчкой и тем, кто ее написал. Между записью и тем, о ком она.

— Зачем? — спросил я, хотя знал ответ: писарь всегда знает ответ раньше, чем решается его спросить.

— Чтобы никто не мог сказать вслух и при свидетеле, — сказала Рита и закрыла бордовую, как закрывают сейф, который уже открыли. — Он готовит пустое держательство, писарь. Кресло, в котором никого не было и в котором никого не вспомнят. А ты помнишь, что бывает, когда запрос наступает при пустом кресле?

Помнил. Вся контора помнила — такие вещи контора помнит дольше, чем люди. Касса спишет не одного человека. Город целиком.

Я не ответил. Ответы — графа чистовика, а это был мой черновик, а черновик — единственная тетрадь, которую мне оставили после стирания имени. В ней я написал ночью, мелко, в углу страницы, подальше от дыр:

— Кто считает вслух и при свидетелях, того не вычеркнуть.

И пошел докладывать дальше — вслух, при свидетеле, потому что теперь я знал, какого ветра ждать: того, что стирает не строки, а само место, где строка лежала. Того, что дует из кресла, которое пусто.

Канал найден. Теперь канал знает мой почерк.

Я доложил конторе — вслух, при всех, по правилам. Рита слушала, не перебивая, и когда я кончил, достала бордовую тетрадь и проверила графу «держатели» в моем присутствии — так, чтобы я видел: запись о третьем лежала, тонкая, как волос, и на ней — пусто, где должно быть имя. «Вот его сила, — сказала она. — Не стирание. Отсутствие графы. Кто без графы — того нельзя сверить, а кого нельзя сверить — того нельзя закрыть. Мой брат умер бы за такую графу.» — Соня добавила свое: «А я скажу страшное. Он не прячется. Кто прячется — тот дрожит. А он — ровный. Как счет. Я видела одну такую нить: у книги.» — Мы молчали. Потом Мо поставила на стол чайник и сказала: «Чай. Кто думает о книге натошак — тот думает чужое.»

ГЛАВА 7. МЕШКИ И ПОМЕТКИ

Кэб позвал меня не разговором — он выслал мальчишку-курьера с запиской, а записка состояла из четырех слов: «Приходи. Свои карабины считаю». Для Кэба это был крик о помощи уровня сирены: он человек телефона и ругани, и если он пишет — значит, линии прослушиваются.

Площадка стояла в старом тоннеле, где мы когда-то ставили декорации, а теперь стояли мешки — калиброванные, с невидимыми пометками, Кэбиной верой и доктриной. Я застал его за работой, которую я никогда не видел: он перебирал карабины по одному, сверял с журналом, ставил галочки. Не проверял — сверял. Разница та же, что между доктором и писарем: проверяющий ищет, сверяющий знает.

— Семнадцать пропало за месяц, — сказал он, не здороваясь. — Не испорчено, не потеряно — пропало. Пометки мои, карабины мои, журнал мой, а в строке дырка. Ты понимаешь, Браун, что это значит?

— Что журнал врет?

— Что журнал не врет, — Кэб швырнул карабин на мешок, и тот встал как влитой, калибр есть калибр. — Вот что страшно. Врет — значит, пишут. А тут не пишут, а делают так, будто писали иначе. У меня мальчик из бригады, Петруха, поставил карабин в журнал в среду. Я стоял рядом. Вчера в журнале Петрухи нет. Мальчик помнит, что писал. Журнал помнит, что не писал. А карабин — на поясе у охотника, который вчера приходил договариваться про аренду. Я взял его за руку и говорю: мой. А он мне договор показывает. С подписью моей.

Моей, Браун. Я смотрю на подпись и узнаю руку. Моя рука. Я так не пишу своего имени уже лет десять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.